

МЫ ИЗ ВОРКУТЫ

(Не хотела называть ни имени, ни фамилии. Да кому это нужно?

Не хотела, чтобы кто-то узнал, что прошла через это пекло.

«Человек к любым приспособляется условиям.

Строит свой мир вокруг себя.

И уже проще».

Не хотела помнить, как это было.

Ведь можно и в пекле жить).

Если не подводит меня память, так помнится мне, что вывезли нас 10 или 12 февраля. Отец в последний момент порывался забить свинью, чтобы взять каплю еды на дорогу. Его звали Мацей, маму же Ефросинья. Жили в Чекне под Луцком, родители мои поставили там дом. Въехали в него в тридцать пятом году, это крепко за село у меня в голову — в тот год умер маршал Юзеф Пилсудский. Отец был солтысом, одевался по-пански, для работы в саду надевал перчатки. Пахотный надел был добрым, а еще на берегу Стыра пользовались лугом. Кони, коровы, телега, инвентарь по хозяйству — всего хватало. Родные и соседи помогали.

Никого больше нет. Ничего не осталось от фамилии Шлихты.

Да и нет нужды вспоминать.

В Чекне украинцы и поляки жили вместе. Посередине деревни шла центральная улица, от нее отходили две боковых. Ближайшая школа — в селе Яловичи, четырехлетка. Зимой в школу возили на санях, давали подводу: раз они, раз мы. Проблем не было. Был магазин, торговали в нем евреи. Была и усадьба, в усадьбе жил полковник, с ним у родителей моих была приязнь...

Я помню красивые липы вокруг усадьбы.

Полковника с семьей и часть наших колонистов [«осадников»], тех, кто жил ближе к Стыру, вывезли раньше. Наша очередь пришла со второго захода. Вывозить — дом под серебром — кулак, а дом был крыт оцинкованной жестью. Засыпать колодец — кулацкий. Пока не выкопали нового, весь хутор ездил по воду к реке. Родителей увезли в Шокшу, рубить лес под Архангельском. Меня же врозь, поехала в лагерь в Воркуту. Товарный поезд, в котором нас везли, неделями стоял на запасных путях. Тронулись мы весной, добрались к концу лета. Что на ком было надето — вот в том. Телогрейки, валенки — это выдали уже в лагере. По дороге кто-то родился, ведь ехали с нами женщины в положении, а кто-то заболел, умер... Многие не доехали до лагеря. Па-а-дъем, расчет, ночь, проверка. Отчего нам было так смешно тогда — не понимаю. Молодые были, настолько все казалось глупым, что аж смешно. Одни вагоны для женщин, другие для мужчин, за нарушения карали сурово. Но уже на месте, когда доехали, пока не поставили барачков — спали вместе: мужчины слева, женщины справа. Близилась зима, одни подгоняли других, сами себе лагерь строили. Кусок хлеба вызывал больший интерес, чем голая девушка. Срока были разными: от десяти, пятнадцати лет и до двадцати. Искали шпионов, люди признавались во всем. Вырывали ногти, раздавли-

вали пальцы, за гранью терпения как останешься разумным?

...Номер нашивали на бушлат, на шапку, на штаны — на колено. Не хочу помнить, хоть и снится он мне по ночам. Самые слабые работали наверху, в лагере, сильнейшие — на шахте. На воротах делили по номерам. Зимой шли в туннеле из снега, на лопате санной колесей съезжали вниз. У каждого была своя лампа на мазуте: смердела, коптила; сквозняк — и она гасла. Тогда головой в столб, вслепую, наощупь, чтобы одолжить у кого-нибудь огня. Шахта работала в три смены, кайло, лопата, лента, вагонетки. Коники, маленькие такие «монголы», тянули вагонетки. Когда один сдыхал, то праздник был: на следующий день — «конский суп».

Шахта находилась под речным дном, сверху капала вода. Если захочешь пить, подставляй лопату. Тюлька и камбула (камбала?) всегда были пересоленными, вызывали страшную жажду. Что ни день обвалы. Спускалось пятнадцать, поднималось десять. Никто никогда не знал, вернется ли. Досталось и мне, завалило.

В больнице сказали: может, и пойдет. Написали «номер такой-то, поврежден позвоночник». Тогда я познакомилась со своим мужем — в больнице. Он был портным, а в бумагах писали «болен», потому как ведь надо кому-то шить. Вот и держали в госпитале. А началось так. В лагере большинство болели. Самые податливые были литовцы («Не латыши?» — переспрашиваю), мерли как мухи. Кто-нибудь умрет в лагере — его вычеркивают из ведомости, к пальцу на ноге привязывают дощечку с номером, написанным химическим карандашом. А умрет на стройке или в лесу — зароят или присыплют снегом. Смотря по тому, зима или лето. В ведомости: выбыл в неизвестном направлении. Мой будущий муж — мы еще не были с ним знакомы — в сорок восьмом заболел туберкулезом костей. Опух; грудь, шея. Послали его на «Шахты 9-10» — так называли лагерь, где врач из Луцка делал операции, вынимал ребра и вставлял взамен куски эбонита. Не согласился, все после этого умерли, а его отослали обратно. Лежал три дня вместе с трупами в подвале под бараком. Не умирал, и врачиха из Львова, чью семью по всем лагерям разбросало, от Казахстана до Сибири, сделала ему прямо на месте операцию. Разрезала опухоли и гной вместе с кусками костей вытек. А раны зажили.

А как выяснилось, что он умеет шить, что он портной...

Однажды, когда вели его под конвоем из лагеря, чтобы снять мерку для мундира начальнику, нашел на помойке клеенчатый портфель. Не знаю, как он его пронес, в любом случае, сшил себе из одеяла лиловый плащ и с тем портфелем приходил ко мне, в женский лагерь. Никто подумать не мог, что можно на такое решиться. На воротах стояли два караула, они даже честь ему отдавали. Известно — от чиновника многое зависит. Жизнь сильнее всего, что человек себе думает, и самое сильное в ней — любовь. Месяц провела в больнице после несчастного случая. В шахту не вернулись, пихнули меня на лесопилку. А после кирпичи делать, к печи. Там так жарко было, люди теряли сознание в день по несколько раз. Их тогда поливали холодной водой с вышки и загоняли обратно. Под конец попала в строительную бригаду.

Тут многое, если не все, зависело от бригадира. В мае, когда приходило тепло, стены и трубы, которые зимой ставили на лед, начинали падать. Нужно было писать объяснения, доказывать. Всё от начальника зависело. Скажут — саботаж, и нет бригадира. В лагере рождались дети, пусть даже теоретически такой возможности и не существовало. Женщин наказывали. Когда я забеременела, меня перевели в лагерь километрах в двухстах от прежнего. Работала при колхозе. С теплом появлялись тучи комаров, воздух серел. Руки, шею, уши, лицо мазали глиной, разведенной с мылом, чтобы кожу затянуло скорлупой. Помню летнюю бурю, перед нами в телегу, на которой везли косы, ударила молния. Мы закопали парализованного возчика в землю по самое горло. Оклемался. Но лучше всего радовались тому, что конь околел.

У нас родилась дочь. Я все время, с самого начала, писала своим — по одному письму в год. Отвечать боялись. Но кто-то из них в конце концов ответил, прислал мне адрес моих родителей в Шокше. Я поняла, что они живы.

Детей обычно забирали в детские дома, воспитать советскими людьми. А мы хотели, чтобы дочку взяли дед с бабкой. Непросто было. Чиновники сами боялись — друг друга. Место для ребенка в доме родителей, в Шокше, муж купил своим шитьем. Иголкой. ...Барак метров тридцати длиной. С обеих сторон нары в два яруса. Посередке стояли печки, с шахты каждый приносил в кармане кусок угля, располагали мы таким неписанным правом. Выходы были в торцах, два. Нас заперли внутри, я точно помню дату — пятого марта пятьдесят третьего года, — и держали так две недели. Не знали, как дальше будет. Na robotu nie rajdiom, Stalin radoch, — сказал охранник. Только «параша», такие переносные туалеты, опорожнить позволяли. У мужчин в бараках начались драки: уголовники с политическими. Когда Сталин сдох и пришел Маленков, все только и говорили, что об амнистии.

Но амнистия пришла не ко всем. Нас, политических, отпустили в пятьдесят шестом, без права выезда из Воркуты. Еще успели увидеть, как ломают памятник Сталину в центре городка. Прицепили тросом к трактору... и развалился, словно гипсовый. Мы поженились, у меня было платье, сшитое из парашюта, вуаль из медицинской марли, у мужа — костюм из лагерного одеяла, бумажный букет цветов. На свободе получила работу ночного сторожа. Выдали мне ружье, чтобы охранять банк. Выдержала экзамен по стрельбе, три дырки в мишени. Правда, не от моих выстрелов. Тем не менее, сдала. Ну так. Наши документы на выезд муж подsunул начальнику, нам разрешили вернуться в Польшу. Вернуться — но куда? Выехали ровнехонько в тот день, когда всюду отмечали юбилей революции, 7 ноября 1957 года. Пропускной пункт в Тересполе, репатриационный пункт в Бяла-Подляске. В чемоданах везли апельсины — все потом в Польше твердили, хорошо же вам там было!

Мы давали подписку о неразглашении.

«Сболтнете лишнего и сразу вернетесь сюда... уж мы постараемся, — так говорили нам в отделении городской милиции. —

Глаз с вас не спустим, так что начеку будьте.
Нам тут вражеская пропаганда не нужна. Подписывайте...»